

ИРИНА МУРАВЬЁВА



РАЙСКОЕ ЯБЛОКО

Ирина Муравьева

Райское яблоко

«ЭКСМО»

2013

Муравьева И. Л.

Райское яблоко / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2013

Адам и Ева были изгнаны из Рая за то, что вкусили от запретного плода. Значит ли это, что они обрекли весь человеческий род на страдание, которое неразрывно связано с любовью? Алеша, мальчик из актерской московской семьи, рано окунулся в атмосферу любви-страсти, любви-ревности, любви-обида. Именно эти чувства связывают его родителей, этой болью пронизана жизнь его бабушки, всю себя отдавшей несвободному женатому человеку. Как сложится судьба ее внука, только что познавшего райское блаженство любви?

© Муравьева И. Л., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	16
Глава третья	20
Глава четвертая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Ирина Муравьева

Райское яблоко

Глава первая

Алеша

Лето особенно запомнилось Алеше свежим и терпким ароматом леса – он от него просыпался. Сами по себе деревья не могли так пахнуть – так пахла вся летняя жизнь. И листья, и кроны, и вылезшие из земли корни, которые напоминали вздувшиеся вены на руках молочницы, и звери, которые прятались в чаще и там же кормили детенышей. А зверь каждый пахнул по-своему. И было полным-полно птиц и гнезд с их птенцами. Они раскрывали чернильные рты, и мать, подлетая, совала то в один, то в другой жадный рот живого червя. И не было жалости в птичьих глазах, ведь червяк был чужим, а этот орущий птенец – родным сыном.

Алеша был сыном и сам. Родным и любимым. При этом он, кроме страданий, почти ничего не изведal. А может быть, если отец бы не пил, то было бы все по-другому. А может быть – если бы не был актером. Семья заплатила за водку и славу тем, чем положено – болью и страхом.

Обычно артист встает поздно, к полудню, возвратившись после спектакля лишь на рассвете. После спектакля никто не идет прямо домой. Идут в ресторан, или в закусочную, или в гости к тому, к кому можно нагряться, не боясь разбудить после одиннадцати. Потом наступает глубокая ночь. Журчит в батарее вода. Тянет холодом в форточку. Алеша, конечно же, спит. И мама. И даже, наверное, бабушка с ее этой вечной проклятой бессонницей. Но каждый из них просыпается, заслышав, как затормозила машина у дома.

- Ну, сколько натикало? (Голос отца.)
- А сами не видите? (Голос шофера.)
- Держи. (Снова голос отца.)
- Спокойной вам ночи.

Скользнув равнодушным огнем по скамейке, такси отъезжает. Из спальни выходит мама – в длинном халате, тонкая, как оса, и такая же равнодушно-озлобленная, как оса, которой как будто бы все равно, прихлопнут ли нынче ее полотенцем. И если прихлопнут, не очень-то жалко – варенье все съедено, полки пусты.

Потом начинается скрежет и шум. Дверь не открывается: ключ не попал. Опять не попал. Звон. Упала вся связка. А мама, оса, затаилась и ждет. И вот раскрывается дверь, и на маму нисходит лавина снега. На лбу снежный бинт. Значит, только упал.

- Дополз?
- Помолчи! Ребенка разбудишь!
- Ребенок не спит.
- Все равно замолчи!
- Я долго молчала.
- Когда ты молчала? Пусти, я умоюсь.
- Нет, ты уж послушай!
- Уйди.
- Не уйду. Когда это кончится?
- Чтоб ты подохла!
- Не бойся, подохну! Но после тебя!

Алеша зарывается в одеяло и там, в темноте, где тело покалывают крошки печенья, которое съел, засыпая, дрожит крупной дрожью. Ведь мог бы привыкнуть, а не получается.

Бывали, однако, и праздники. Зимой поставили новый спектакль – «Семейное счастье». Когда решалось, кому играть главную роль, отец неожиданно пить перестал и вдруг похудел, побледнел, подтянулся. Глаза его стали тревожными, жалкими. И мама однажды его обняла – когда сели завтракать, вдруг обхватила одною рукою за шею, в другой был омут, еще весь пузырящийся.

– Не бойся, ты будешь играть.

– Не дадут. Ануфриев метит.

– Ты будешь играть. Я сон вчера видела.

– Хватит про сны!

– Да что значит хватит? Пеку я блины. И сахаром их из кулька посыпаю. Теперь уже точно, ты будешь играть.

Она не ошиблась: отцу дали роль.

Премьера состоялась перед самым Новым годом. И мама накрашила губы так ярко, как будто бы главную роль дали ей. И бабушка тоже накрашила губы. У бабушки есть для кого губы красить. Для Саши, любовника. Женатого, с очень больною женой. Она уже год в психбольнице. История грустная, нервная, долгая, но бабушка терпит. Деваться ей некуда.

От дома идти до театра пешком. Живут Володаевы в центре. Музей Станиславского – прямо у них во дворе, смотрит через дорогу на зашторенные окна корейского посольства. Корейцы одеты всегда одинаково: штаны темно-синие, белые блузки. На каждом корейце значок. С другой стороны от музея растет вековая огромная липа. Она прикрывает музей от дворовых – актеров, старух, стариков и детей. Зимой, когда дерево обнажено, то можно увидеть на стуле зрителя. Он спит, и его бакенбарды шевелятся.

На премьере было так много знакомых, что маму от страха, что папа провалится, слегка затоснило. Помада вся стерлась. А бабушка – тоже от страха – держала любовника Сашу так крепко, что палец с его обручальным кольцом немного вспотел.

Во втором акте отец, с шелковым шарфом на шее, сказал:

– Ведь я для вас стар. И не спорьте. Я знаю, что я для вас стар!

Алеша напрягся, и тут ему вспомнилось: он был совсем маленьким, кротким и толстым. Гуляли с отцом на Никитском бульваре. Детишки давно разошлись. Алеше хотелось домой, но отец все топтался и грел его руки в ладонях. И вдруг подбежала какая-то девушка. Отец сразу кинулся к ней. Они обнялись и стояли так долго. Она разрыдалась, открыла лицо. Алеша запомнил: лицо было мокрым. И что-то такое отец ей сказал... Да, он ей сказал эту самую фразу:

– Я стар для тебя. И не спорь. Слишком стар.

Мороз был тогда, очень сильный мороз.

На сцене отец его, статный, высокий, с горящими скулами, все повторял:

– Я стар для вас. Слышите, Маша? Прощайте.

И тут же актриса с пшеничной косой вдруг так закричала, что зал даже вздрогнул:

– Вы низкий, вы неблагородный! Как вы... Как вам... Вы знали, что я вас любила! Люблю! И как же вы можете... Как вам не стыдно!

Пошел занавес. Зрители заплотировали.

– Ну, мастер, ох, мастер! – сказал кто-то маме. – Ведь он же живет! Не играет, живет!

Отец его кланялся. Мама, бледная, смотрела в бинокль на сцену. Партнершу отца звали Юной Ахметовой. Она жила прямо под ними, на третьем. Мужья ее часто менялись, поскольку у Юны Ахметовны сын-алкоголик. Он то пропадал, то опять появлялся. Ей было семнадцать, когда он родился. Теперь ей исполнилось сорок. Сын выглядит старше, чем мать.

Глаза ее – два золотых полумесяца, улыбка прелестна, фигура божественна. Таких, как она, любят мучить мужчины. И за красоту, и за легкий характер.

Крикливая стайка отцовских поклонниц струилась к гримерке рекой из букетов. Но мама раздвинула их и вошла. Алешу втащила, как ватную куклу. Отец, отлепляя бородку, был весел и, видно, смущен своим шумным успехом.

– Ну, как тебе в целом? – спросил он у мамы.

– Сыграл хорошо. Вжился в роль. Даже слишком.

Отец покраснел и нахмурился:

– Хватит! А я ведь как чувствовал... Сразу припомнишь!

– Так я не забывчива. Ты это знаешь!

– А то мне не знать! Паранойя твоя...

– *Моя паранойя?* А я здесь при чем?

Отец заиграл желваками и сразу сменил неприятную тему:

– Там вроде уже отмечать собираются...

Ему не терпелось от них отвязаться.

– Иди отмечай! Доберешься к утру? Мороз обещают. Смотри не замерзни. И Юну Ахметовну не заморозь.

– Ты дура, Анюта. Хоть Юну не трогай.

– Да мне наплевать! Даже лучше – соседка! Такси брать не нужно. Сел в лифт и приехал!

– Ну, все. Я пошел.

И раскрыл дверь гримерки. Его обступили влюбленные женщины. Букеты в скрипучих тугих упаковках, сцепляясь шипами и лентами, посыпались прямо ему на лицо. Он так и стоял – весь в цветах, он искрился.

Иногда Алеше казалось, что он разгадал их семейную тайну. Над ними, конечно, висело проклятие. Они очень сильно любили друг друга, но только больной и нелепой любовью, поэтому грызли себя и других, как белки орехи. Сгрызли до крови. Взять маму. Она ни на секунду не прощала бабушке, что та развалила чужую семью. А бабушка не отвечала на это, жила своей жизнью и только шипела, когда пропускала синюшное мясо сквозь мясорубку:

– Еще не хватало! Меня ей учить! С больной головы на здоровую! Нет уж!

И быстрой рукою месила кровавое.

Отец же и мама друг за друга боялись. Вот это и было большее всего. Особенно они боялись, когда кто-то из них заболел. Им, может быть, было не так уж и важно – ругаться, мириться, молчать по неделям. Им было неважно, в каком они *качестве*. Но зная, что качество всей их семьи, скорей всего, среднее, а может, и низкое, они и боялись за эту семью, как люди боятся за дом обветшавший и сад, где полно сорняков да вредителей.

В конце зимы у отца случился инфаркт. Его вылечили, но мама как будто слегка обезумела. Теперь она не только прятала от него все спиртное, не только бросала трубку, услышав голос режиссера Ефимова, звонящего из ресторана с просьбой к отцу приехать – «уже собрались», – теперь она встречала его после спектаклей: ходила к театру со старым бульдогом по имени Яншин, который останавливал внимание размером своих очень жирных, обвисших, от возраста вытертых щек – ярко-красных у глаз и розово-рыжих на шее, хотя самой шеи за жирными складками практически не было видно. Мама поджидала отца в фойе, где со стен на нее смотрели актеры с актрисами, и Яншин – по странной и необъяснимой причине – рычал на портрет одного старика с обвислыми, очень большими щеками.

Отец, лишенный возможности улизнуть, смиренно тащился домой вместе с мамой, а дождик, дрожащий и вкрадчивый дождик на них моросил, словно бы в удивление. Отец обнимал маму крепко за плечи – и так, под одним полосатым зонтом, высокие, стройные и моложавые,

как будто они никогда не ругались, а так вот и жили в счастливом единстве, они торопились к себе, а собака едва поспевала за быстрым их шагом.

В конце июня родители вместе уехали на гастроли. Мама, которая понимала, что, как только отец окажется на свободе, так жди возвращения отчаянной жизни, а стало быть, и повторения инфаркта, поехала с ним. Алешу же в сопровождении бабушки отправили в дачный поселок Немчиновка.

Приехали. Сад весь зарос лопухами, и над ними, нагретыми влажным теплом, вились подслеповатые бабочки. Дом после долгой зимы отсырел, на стенах была кое-где плесень. На одной половине дома жили бабушка, Алеша и бабушкина двоюродная сестра Амалия из Питера. На другой половине – подруга их юности Сонька. Две эти с младенчества близкие женщины слегка походили на спелые яблоки, упавшие с ветки, размокшие, терпкие. Они очень быстро потели на солнце, краснели от зноя, и лямки их платьев всегда оставляли следы на плечах.

Алешина бабушка от них отличалась. Она не старела, как Сонька с Амалией, но все продолжала любить и боролась за эту любовь горячо, как могла.

Проснувшись всех раньше, она надевала старый черный купальник, резиновую шапочку на рыжеватую от хны, миловидную голову и очень легко, мягким женственным шагом шла к пруду купаться. Кроме нее, в нагретой до пара и сизой воде бултыхались лишь утки, а в самое пекло – сожженные солнцем сельские дети. Сельчан, впрочем, не было, были соседи, живущие в старом селе Ромашове. Село – или, как говорили, поселок – было недалеко, через реку Чагинку. Там были и куры, и гуси, и козы. И жизнь вся кипела вокруг огородов и прочих нелегких хозяйственных нужд. Там рано вставали и рано ложились, и пахло там свежим горячим навозом, а в низких, весьма неказистых домах на всех подоконниках были горшки с растеньем алоэ и красной глоксинией. Дачники на другом берегу Чагинки держались замкнуто, с поселковыми не мешались, имели на своей территории магазинчик, сторожку, где жил пьяный сторож, и лес. Ходили в панамках, а то так и в шляпах, и праздность их была в глаза – сидели в садах и чай распивали.

Наплававшись в полыньях чистой блестящей воды среди толстых круглых листов кувшинок, бабушка принималась готовить завтрак. К завтраку выходила из маленькой комнаты Амалия в голубом капроновом халате, прожженном тут и там утюгом, и следом – картавая сплетница Сонька.

– Сегодня заказ, – сообщала им Сонька. – Сказали: собраться в березовой роще. Чтобы из поселка никто не пронюхал.

Раз в неделю дачникам полагался продовольственный заказ. Он оформлялся заранее, заранее был и оплачен. Никто из поселка не должен был знать, что в этой невинной березовой роще, прикрытые сверху своими панамками, бездельницы каждый четверг получают наборы прекрасных продуктов. И дешево – кооперативная льгота. И сразу все прячут в пакеты и сумки. Расходятся по одной, напевая.

Вспомнив, что сегодня четверг, бабушка и Амалия переглядывались. Это их всегда забавляло.

По пятницам бабушку навещал Саша. Выходные он проводил на даче, не ездил в больницу к несчастной жене, и бабушка привычно продевала свою еще сильную женскую руку под локоть чужому неверному мужу, кормила его на террасе отдельно, водила гулять на Чагинку. Чагинка была очень тихой, глубокой, на редкость ко всем дружелюбной рекой.

В субботу вставали попозже и долго, старательно ели нехитрый свой завтрак. К столу подавали клубнику, творог, Амалия делала кашу из тыквы, а бабушка сырники или оладьи. Когда в доме появлялся мужчина, Амалия с Сонькой вдруг преображались. Подводили глаза и припудривали постаревшие лица. Присутствие Саши, его мягкий, низкий, с приятной хрипотцой голос из сада, и то, как он долго стоял в летнем душе, – вода все лилась и лилась, а он пел, – люди часто поют, когда моются, – на них наводили тревожную томность. Они изумля-

лись, однако, на Зою – любовь в этом возрасте, прямо при внуке! Ну ладно бы просто приехал! Ну, можно. Попили бы чаю, сходили бы к мельнице (достопримечательность и под охраной!). Но чтобы бежать к ней наверх *ночевать*? А чувства ребенка их не беспокоят! Бог знает, что там происходит с ребенком, когда он лежит в угловой узкой комнате, не спит, и дыхание летнего сада доводит его до головокруженья?

Алеша же с детства привык ко всему: скандалам, изменам, к словам, как на сцене, внезапным слезам и внезапному смеху – короче: всему, что зовется любовью.

Он вдруг начал быстро и резко меняться. Подмышки его заросли волосами, а круглые щеки немного запали. Он начал стесняться смотреть на людей. Как будто внутри его кто-то согнулся от собственных мыслей, и все стало мутным, все словно двоилось, как это бывает, когда заболеешь. Но Сонька, картавая сплетница, сразу учуяла запах Алешиных мыслей. Они были скверными, стыдными, дикими.

И Сонька сказала Амалии с Зоей:

– Алеша созрел.

– Он тебе не клубника! – отрезала бабушка и помертвела.

– А вот вы увидите! Сами увидите. Теперь глаз да глаз. И цыгане придут.

В Немчиновке летом стояли цыгане. Они приезжали сюда каждый год. В начале июля, когда застывала природа от зноя, и даже Чагинка и та подсыхала местами от жара, врывалось в Немчиновку черное племя, все в золоте, жилах, со звоном и грохотом.

Они приезжали в тяжелых повозках. С повозок свисали их пестрые тряпки. Мужчины вели под уздцы лошадей. А дети с глазами как угли сосали отвисшие женские груди. Их девушки были похожи на птиц – такие же громкие, в красном и желтом, – с босыми ногами, покрытыми пылью.

Дачникам приходилось словно проснуться – увы, завершалось их мирное время, когда, скажем, сядешь на пеструю грядку и рвешь себе спелую ягоду, рвешь, потом ее в таз, сахарком посыпаешь и варишь варенье – на целую зиму. А сваришь варенье – ложись отдыхай. В четверг – за заказом в прохладную рощу, а утром на станцию за молоком. Калитки открыты, и двери открыты, и пахнут янтарной смолой стволы.

А тут словно сглазили тихое место. Весь берег зеленый покрылся шатрами, костры потянулись к верхушкам деревьев, и голые дети усыпали воду своими глазами, плечами, локтями, и мокрые их завитки зачернили согретые солнышком волны Чагинки. Пришлось защищаться – калитки закрыли, домашних животных попрятали в комнаты, младенцев теснее прижали к себе: ведь не вырвут из рук-то? Из рук-то не вырвут. Дремучее древнее время вернулось, теперь – кто кого? Вы, черные, в жилах и саже – нас, белых, в панамках, носочках, с ключами от дома?

В Немчиновке, в темных аллеях ее, в садах ее розовых все зазвенело, цыгане ходили по дачам с оркестром – три скрипки и бубны. Три парня с большими зубами, кудрявых, и три гибких девки, босых, черноглазых. У каждой по розе в руке.

В четверг и до них дошло дело – Алеша, Амалия, Сонька и бабушка стояли на стертых ступеньках, смотрели.

– Давай погадаю, хорошие! – крикнула одна черноглазая и розу до крови в губе закусила зубами. – Давай выходи! Просто так погадаю. Захочешь, плати, не захочешь – не надо!

Бабушкино лицо отразило борьбу – Алеша увидел, как брови ее страдальчески изогнулись, глаза заблестели. И, сделав шаг, она оказалась на нижней ступеньке террасы.

– Не бойся, красивая! Дай погадаю! Душа у тебя разрывается, вижу! Иди, я всю правду скажу!

И бабушка, как заколдованная, отворила калитку, впустила к ним всех шестерых. Парни весело и страшно оскалились, озираясь. Девка, что заприметила бабушку, смело схватила ее за безвольную руку и уткнулась в ее ладонь, две других прошагали к Амалии с Сонькой.

– Не надо, спасибо! Я в это не верю! – шепнула Амалия и покраснела.

– Да что мне гадать-то теперь? Отжила! – хихикала Сонька. – Вот раньше бы надо! Однако стояли покорно, как овцы.

– Ай, что за беда! Ай, беда так беда! – причитала первая девка, явно желая, чтоб все ее слышали. – Ай, сохнешь, хорошая! Он-то гуляет!

– Что значит гуляет? – белыми губами спросила бабушка.

– Женат он, женат! – забурлила цыганка. – Жену разлюбил, вся больная насквозь!

Бабушка оглянулась на близких.

– Он выгоды ищет, – бойко прорицала цыганка. – Ты думаешь, что ты одна у него? Жену похоронит, молодку найдет! Ой, суку-молодку! Уже приглядел!

– Неправда...

– Какая неправда, красивая? Уж им, кобелям-то, законы не писаны! Сейчас он тебя вроде как привечает, ты спать мягко стелешь, покушать готовишь, чего он ни скажет, ты в рот ему смотришь! А как похоронит жену, так и деру!

– И что же мне делать? – совсем растерявшись, почти всхлипнула бабушка.

– Что делать? Пустая ладонь-то! – сокрушалась цыганка. – Не знаю, что делать! Ладонь-то пустая!

И бабушка, с мелко дрожащим лицом, легко, будто девочка, взмыла наверх – и вскоре вернулась с соломенной сумкой.

– Давай – не считай! – взбодрилась цыганка и, выдернув из кошелька две бумажки, опять посмотрела в ладонь. – Ай! Вижу, что делать! Ай! Дай помогу! Есть верное средство, но только присушим уж так, что его не отсушишь обратно!

– Согласна...

– А раз ты согласна, пойдем с тобой в дом. На людях нельзя, у них глаз завидуций!

– Ты, Зоя, куда? – прошептала Амалия.

Но бабушка лишь отмахнулась. Цыганка, простучав грязными пятками, уже была в комнате.

– Алеша! За ними ступай! Проследи! Алеша, ступай! – шипели, как змеи, Амалия с Сонькой.

– Бедовая ты, ай, бедовая, вижу! – заговорила девка постарше, ухватив хихикающую Соньку. – Таких мужиков загубила, что страсть!

У Соньки победно блеснули зрачки.

– А любит тебя, очень любит один, живет в другом городе, очень страдает!

Амалия все повторяла, что с детства нисколько не верит гаданьям, но вскоре и ей набрежали такого, что вся она вдруг запылала, как роза, и даже схватилась рукою за сердце. Бабушка вышла из комнаты полуживая, и три босоногие девки в размашистых юбках, их подобравши, сделали парням знак уходить – один пропиликал на скрипке какую-то песенку, очень знакомую, и шестеро смуглых лихих колдунов, звеня в летнем воздухе связкой монистов, шурша по траве разбитными ногами, пошли себе дальше, белозубо оскалась, лелея нечистые цели.

За обедом женщины развеселились, хватили слегка прошлогодней наливочки, чтоб не так было стыдно перед Алешей, пересчитали в кошельках деньги, хватились серебряных вилок и ложек и вскоре легли отдыхать. Алеша страдальчески наблюдал раздумывавшиеся во сне щеки старой девушки Амалии, плотные наплывы на ее щиколотках, собравшиеся над тесными матерчатыми туфлями, вспомнил статного Сашу, женатого на сумасшедшей Лизе, – и вдруг раздражение на всех этих взрослых и вроде неглупых людей, на всю их нескладную жизнь, такую неловкую и несчастливую, – как будто толкнуло его прямо в грудь. Ему захотелось заплакать от злости. И, главное, никуда не сбежишь! Ну, может быть, только взглянуть на цыган. Вдохнуть в себя этой цыганской свободы. Хотя это, может быть, тоже брехня: какая свобода? откуда ей взяться?

До места у Чагинки, где стоял непрошенный табор, от их дачи петляла тенистая, в пятнах от солнца дорога. Как это часто случается в особенно жаркие дни, дорога была пуста, дачники все попрятались, и, кроме девушки с распущенными по плечам светлыми, почти белыми, волосами, Алеше никто на пути не попался. Девушка вела рядом с собою велосипед с проколотой шиной. Они поравнялись. Алеша испуганно спрятал глаза, прошел, не взглянул, но потом обернулся: фигурка у нее была тоненькая, невесомая, обтянутая ярко-пестрым платтицем, босоножки на маленьких каблучках, загорелые руки и ноги. Те мысли, что он гнал от себя, набросились сразу, подобные пчелам, покинувшем ульи. Он словно бы даже услышал их звук больной, очумевший, безжалостный, влажный. Девушка прислонила велосипед к дереву и тоже на него посмотрела – неловкий подросток стоит неподвижно и щурится. Она улыбнулась ему – снисходительно. От вмиг обварившего тело стыда Алеша шагнул, оступился, застыл. Она улыбнулась еще раз – сочувственно. Алеша запомнил две эти улыбки, запомнил ее совсем светлые брови, но глаз не запомнил. Она их отчего-то прикрыла ресницами. Он быстро продолжил свой путь. И вновь обернулся, ее уже не было. От этого он испугался так сильно, что даже вспотел. Она не могла столь внезапно исчезнуть: ведь это же он убежал от нее, она-то осталась под этим вот деревом! Он бросился следом за странной блондинкой, но той нигде не было. Не птица же ведь, улететь не могла! Хотя что-то было в ней птичье, воздушное.

Его охватила горячая злоба: в пятнадцать себя уже так не ведут. К тому же девица и нехороша, и старше намного, и ноги кривые. Он попытался вспомнить, как выглядели ее ноги, чуть прикрытые сверху тесным ей пестрым платьем. Да нет, не кривые, а просто худые. И туфельки на каблучках. Невесомая! Но волосы были густыми и пышными. Лица ее он не успел разглядеть. Ресницы запомнил. Ресницы и волосы. Другой бы, наверное, и познакомился, он выглядит на восемнадцать, не меньше. Помог бы ей с велосипедом. Другой бы! Другой бы давно уже и целовался, и лето бы не проводил со старьем, а жил бы один на московской квартире, водил бы приятелей в гости, девчонок... А он вот не может. И все Вероника!

Душа его произнесла имя – и тут же заняла и закровоточила.

До нынешнего лета Вероника была его единственной любовью. Они росли в одном дворе и ходили в одну школу. Сидели всегда только вместе. От этого он и учился на тройки. Но близость ее плотно сбитого тела и скрип то ли туфель ее, то ли ног в белом эластике, запах ее темно-красных кудрей, ее смех – не только мешали учиться, но были важнее всего на земле. Нередко случалось – соприкоснувшись коленями, они так и застывали с горящими лицами. Сентябрь был теплым, она приходила в простой белой блузочке. Стоило ему скосить глаза ей на грудь, как он всегда находил темнеющую виноградину: сосок ее проступал через ткань.

Представить себе, что Вероника – с ее сияющими щеками и кудрями такой густоты, что она краснела с досады, пока удавалось хоть как-то зашпилить их или сплести, – представить себе, что с конца ноября ее, большеротой, веселой и громкой, уже нет ни дома, ни во дворе, а она где-то в клинике для инвалидов, представить такое Алеша не мог. Ему все казалось, что это ошибка, что нужно проснуться, умыться, одеться, влететь пулей в школу, а в школе – она. И все как всегда. И пушок на висках, и темный румянец, и шрамик над бровью.

Она заболела в конце ноября и после гриппа не смогла подняться с постели. Теперь она только мычит, ее возят в кресле. До самого Нового года в школе никто ничего толком не знал. Алеша надеялся, ждал, тосковал, но утром в первый день после каникул бабушка сказала ему, что вчера Веронику перевезли в специальную клинику. Она видела из окна, как подъехала машина, девочку перенесли туда на носилках, укрытую одеялом до самых глаз, и мать ее влезла за ней, куда влезли следом и два санитара, а папа ее, знаменитый артист, которого все узнавали на улице, сел рядом с шофером.

Через несколько дней он повстречал ее мать, она прошла мимо, и лицо у нее было восковым, неподвижным, а отец Вероники, игравший в одном театре с его отцом, и вовсе ушел из дома, отчего бабушка мстительно и несправедливо заметила маме, что он все равно бы ушел,

это только ускорило. Но мама вдруг так закричала и чуть не убила (буквально, как муху!) Алешину бабушку, что та сразу смолкла и больше к больной этой теме ни разу и вскользь никогда не вернулась.

Однажды во сне, – а весна наступила, и все, что сгнивало в холодных сугробах, открылось глазам, но и запах гниения стал частью цветущей прекрасной природы, – однажды во сне они встретились снова. Вероника сидела у окна, и выпавший из солнца застенчивый луч золотил ее косу, и нежно, с особенно чуткой любовью и радостью он освещал ее ухо и делал его столь прозрачным, как будто оно было вылитое из хрусталя. Алеша при этом стыдился чего-то и медлил, почти не смотрел на нее. Зато он шутил с Иониди, гречанкой, которую звали нелепо: Матреной. Матрена, гречанка, раскатисто, сытно, как принято в Греции, громко смеялась. И вдруг Вероника сказала: «пора». Тогда он увидел и косу, и ухо, и кончик манжета с пятном на запястье – след краски, которой покрасили двери, – и даже улыбку. Немного смущенную, но очень светлую. Как будто она прожила свою жизнь, и знает об этом, и все принимает.

И вдруг ему сделалось легче. Вероника, неподвижно лежащая на уродливой, как обломки древней цивилизации, кровати, любила его. И он ее тоже: любил.

Для этого даже не нужно быть рядом. Коленами можно не соприкасаться. Та нежность, и горечь, и страх за нее, и та благодарность к ней даже за этот случившийся вдруг ослепительный сон, в котором вернулись и косы, и губы, и руки ее, и ее чистый голос, и этот покой, какой он ощутил, как только проснулся, – все было любовью.

Нигде не найдя следов странной блондинки, Алеша домой не пошел, а прямо направился к табору. Граница между дачами, почти подступавшими к берегу, на котором живописно темнели пестрые шатры, и этой крикливой цыганскою жизнью была очень строго очерчена рядом высоких и шумных дубов. Грибное, всегда с сильным запахом белых, которые там с молчаливой гордыней росли в ожидании смерти, поскольку все знали, что белые эти растут только там, и, еле дождавшись осенней прохлады, спешили скорее туда, чтобы тут же присвоить себе эти плотные, с гляncем, с налипшей на них золотистой травой, еще не успевшие ни надышаться, ни покрасоваться грибы, – это место Алеша и выбрал сейчас и, усевшись повыше на дереве, принялся жадно рассматривать табор. Его испугал низкий, хриплый, настоящий на отвращении вой. И выл, и рыдал, и давился при этом какой-то подросток, а может быть, женщина. Между тем никто, кроме Алеши, не обращал на этот вой никакого внимания.

Две всклокоченные седые старухи – одна при этом курила трубку – черными обугленными палками помешивали варево в котлах. Два старика сидели под деревом, ворчали, и ноги их были оголены почти до колен. Цыганка, постарше, чем те, что сегодня гадали Амалии, бабушке, Соньке, с тазом, полным горячей воды, подошла к старикам, и они погрузили в таз босые черные ноги, а цыганка достала из отвисшего кармана кофты мешочек: чего-то насыпала в воду. И лица у старых цыган подобтели. Несколько парней и девушек, обогнув дерево с Алешей и не заметив его, как будто бы это и не человек, а гусеница или хрупкий кузнечик, подошли к старухам, варившим еду, и тут же одна из них отбросила палку и села на землю. Девушки принялись вынимать из-под юбок украшения, ручные часы и скомканные бумажные деньги. Старуха пересчитывала деньги, заворачивала их в тряпку, а украшения быстро подкидывала несколько раз на плоской ладони, определяя их вес, пробовала на зуб и тоже заворачивала в тряпку, но отдельно от денег. И вдруг поднялась во весь рост. Не говоря ни слова и только оскалившись, словно волчица, она изо всей силы схватила за волосы одну из девушек, и та вскрикнула – ясно и звонко. Алеша расслышал беседу их сверху, хотя и не понял ни слова.

– Саро джином!¹ – сказала старуха.

– Дава тукэ мро лав!² – прохрипела молоденькая. – Дава тукэ мро лав!

¹ Все знаю (цыг.).

² Даю тебе мое слово (цыг.).

– Мэ ада шульдэм³ – отвечала старуха и, подняв с земли обугленную палку, поднесла ее к огню.

– Тырдев!⁴

– Хохав Эса!⁵ – старуха сунула палку в огонь. – Со кираса?⁶

– Тырдев, – повторила обманщица, достав из-под юбки блестящий предмет и вся изогнувшись при этом.

Старуха выпустила ее волосы.

– Дэ мангэ подыкхав!⁷

Она осмотрела предмет, снизу напомнивший Алеше портсигар, и завернула его в отдельную тряпку.

– Тэ скарин мэн дэвэл!⁸ – проворчала старуха.

И, снова взяв палку, вернулась к костру. Рыдания и вой стали тише, но тут же сменились на визг. Цыганка, принесшая горячей воды старикам, прислушалась и, хмыкнув, вошла в шатер. Визг сразу затих. С минуту была тишина и кузнечики. Потом вдруг раздался младенческий крик. Цыганка опять появилась, довольная, держа на руках что-то красное, мокрое, размером не больше, чем с белку, и сразу пошла к старикам. Те вытащили из таза свои распаренные, теперь лиловые, а не черные, ноги и внимательно осмотрели новорожденного, не дотрагиваясь, однако, до его тельца в крови. И важно кивнули седыми кудрями. Тогда цыганка понесла ребенка старухам, помешивающим варево в котлах, и та, что курила трубку, вытерев влажные свои руки подолом, а трубку пристроив в углу серых губ, взяла его на руки. Весь заволокнувшись и дымом костра, и дымом старушечьей трубки, младенец испуганно заклокотал.

Если бы рядом с Алешей был кто-то еще, то он бы, конечно, сгорел от стыда. Но он был один под прикрытием дерева, и то, что он видел, его возбуждало сильнее, чем книга, чем фильм, и намного сильнее, чем девушки. Чужая цыганская жизнь была терпкой, саднящей, ничуть не похожей на все, что он знал. Вишневое небо горело над табором, и люди в вишневом закатном огне казались ему существами особыми. Когда они соприкасались с такими, как Сонька с Амалией, им было проще надеть на себя эти глупые маски и, скрывшись под маской, украсть, обмануть. Они понимали, что несовместимы с другими людьми, и плевали на это.

Из шатра, пошатываясь от только что перенесенного страдания, вышла молодая цыганка, по виду не больше пятнадцати лет, совсем еще девочка, с большим животом. Подобравши в густых пятнах крови цветастые юбки, спустилась к реке, села прямо на траву, сняла с себя все, кроме ленты в кудрях, потом вошла в воду, почти ослепляя Алешу своей наготой. Он заметил ложбинку на смуглой спине. Ложбинка раздвоила тонкое тело, развела ее круглые бедра по разные стороны, и получилось красиво настолько, что дух захватило.

На террасе мирно горела настольная лампа, и осы кружились над темным вареньем. В бабушкиных глазах затрепетала растерянность, когда она взглянула на медленно подходящего к дому Алешу.

– Ей-богу, я матери все напишу! – испуганно замахала она руками.

– А что ты напишешь? – Он вдруг разозлился. – Пришел ведь, не умер...

– Куда ты ходил?

– К цыганам ходил. Вот куда. Что из этого?

³ Я это слышала (цыг.).

⁴ Подожди! (цыг.)

⁵ Обманываешь (цыг.).

⁶ Что будем делать? (цыг.)

⁷ Дай мне посмотреть! (цыг.)

⁸ Чтобы тебя Бог покарал! (цыг.)

– Ну вот! Я же и говорила: к цыганам! – И Сонька поджала румяные губки. – Уже ведь мужчина. А их, мужиков, к цыганкам с младенчества тянет магнитом. А что в них такого? Паскудные бабы! Небось и не моются, зубы не чистят...

– Да как же не моются, Соня? – спросила Амалия, старая девушка. – Они на реке, а вода как парная.

– Скорей бы уж, Господи, вовсе ушли... – сказала с задумчивой горечью бабушка. – Вот знаю, что врут! Ни минуты не верю! Но факты есть факты.

– Какие же факты? Наверное, сплетни, – вздохнула Амалия.

– Что значит сплетни? – вскинулась бабушка. – Вечно ты влезешь! Сто раз умоляла: не знаешь – не лезь! Ведь я ж говорила, что ехали двое. Сюда, к нам, в Немчиновку. Время военное. Но броня у обоих. Один – знаменитый хирург, а другой... Не знаю, не помню, но ценный ужасно. Ну, едут, беседуют. Входит цыганка. Все как положено: тряпки, узлы. В узлах – новорожденный, весь как в муке. И просит, конечно: «Давай погадаю! Дитя кормить нечем! Вчера родила, а в грудях – одна жижа. Помрет мой сыночек! Давай погадаю!» А этот хирург знаменитый подумал и ей говорит: «Посидите, мамаша. Давайте я мальчика-то осмотрю». Притронулся к мальчику, а это – кукла!

– О, Боже мой! Кукла! – И Сонька привстала. – Да разве же куклу-то не отличить...

– А как отличишь? Вечер, поздно, темно... Болтается кто-то в узлах на груди... А этот профессор – давай хохотать! «Ну, как разыграла, мамаша! Талант! Ведь чуть было и не поверил! Сыночек...» Она стоит, злая. Стоит и молчит. Потом говорит: «А придется поверить. Сегодня не дома тебе ночевать, а в сточной канаве. Так карта легла». И сразу же юбкой-то щелк! И пошла. Они посмеялись. Хирург знаменитый тогда говорит: «Пойду покурю. А вы ведь не курите? Ну, обождите». И – в тамбур. Курить. Через двадцать минут приятель всполошился: «Где Федя?» Нажали на «стоп», стали Федю искать. А он уже мертвый, в канаве лежит. На полной на скорости с поезда сбросили. Вот и говори после этого... Нет уж!

– Конечно, совпасть очень даже могло... – Амалия вынула серую шпильку, погнутую употреблением, из кока. (Носила большой пегий кок, весь на шпильках!) – Нельзя же вот просто поверить, и все. Ведь так и в чертей даже можно поверить!

– А как же в чертей не поверить! Ну, Маня! (Амалию звали в семье просто Маней.) Ведь муж мой второй, не Евгений Максимыч, а этот поляк, Теодор Растропович, – да не музыкант, не скрипач этот, Господи! – И Сонька, боясь, что ее перебьют, махнула своей энергичной ладошкой.

– Да он не скрипач...

– Я с этим не спорю, что он не скрипач! Так ведь Теодор Растропович, мой муж, скорняк-то... Ты помнишь его?

– Очень помню. С усишками...

– Какие усишки? Усищи! Красавец! Ведь черти его унесли. Это точно.

– Какие там черти, когда КГБ? Какой это год?

– Какой год? Я думаю, семидесятый. Какой же?

– А может быть, ОБХС, – вздохнула Амалия миролюбиво.

Алеша заметил, что бабушка мрачно и словно страдая их слушает.

– ОБХСС! – поправила Сонька. – Мы ехали с ним на курорт. Красота! Черемухой пахло, июнь! А муж мой, скорняк Теодор, он ведь был... Ну, как объяснить? Станным был человеком. И брак наш какой-то весь был непростой... Хотя я его просто боготворила! Вот едем мы с ним на курорт. Я платице сшила в лиловый горошек. Сажу осторожно, боюсь, изомну. А вечером к нам подселили попутчика. Кудрявый такой, глазки как у мышонка. И пахнет, представь себе, «Красной Москвой!» Ну, начали мы разговор, закусили. Я курочку, помню, везла, три яичка. Коньяк у нас был. Теодор Растропович умел угостить. Ну, король, одним словом. И я захмелела, сняла босоножечки и прилегла. Про новый горошек не вспомнила даже. Заснула.

Проснулась. Луна за окном. Вообще, много мистики, знаешь... Все в свете каком-то мистическом, лунном...

– Ну, хватит плести! – простонала вдруг бабушка.

– А я не плету! – Сонька сдвинула бровки. – Кому говорить! Ты-то знаешь, *как* было! Проснулась. Лежу. Вижу – эти на койке. Прижались друг к другу боками, молчат. И держатся за руки. Дышат при этом, как будто на пристани бочки таскают. Вот так: «А-а-ах!» И молчат. И опять: «А-ах!» Потом, слышу, кто-то в купе к нам скребется...

– О Господи! На ночь такие рассказы!

– Молчи, Маня. Слушай. Не прячься от жизни! Мой муж Теодор Растропович встает и дверь открывает. И входит военный в расстегнутом кителе. А этот красавчик с глазами мышонка вскочил и на шею ему, как Татьяна!

– Какая Татьяна?

– Татьяна – одна. Татьяна Онегина. Я обомлела. «Ну, думаю, сын!» А всмотрелась – не сын. Лет, может, на семь только старше, не больше. А китель расстегнут. И в губы целует.

– Кого он целует?

– Кого? Не меня же! Целует кудрявого этого мальчика.

– Мужчина мужчину?

– Мужчина мужчину. Тогда Теодор мой военного сгреб, как крысиную шкурку, в кулак и сказал: «Пошел, в общем, вон». А военный ему: «Давайте не будем грубить. Ни к чему».

– Да как это, Соня? Я не понимаю...

– А ты, Маня, слушай спокойно, и все. И этот военный тогда говорит: «Спасибо, котенок. Ты можешь идти».

– Откуда котенок-то взялся в купе?

– Амалия! Ты – экспонат для музея! Тебя под стекло посадить и показывать! Котенок – не зверь, а котенок – парнишка. Ну, этот, с которым мой муж Теодор сидел-обнимался, пока я спала. И мой Теодор говорит: «Так нечестно. Ведь он же меня соблазнял! Я бы мог прожить свою жизнь и без этого».

– Без этого... А без чего?

– Без... Ну, как? Совсем непонятно? Потом объясню! Короче, без *этого*. Ну, а военный ему: «*Это* только предлог. Тут есть посерьезнее вещи, покруче». И вдруг достает документы. А сам улыбается, хитрый такой. «Ну, все, – говорит, – собирайтесь. Пошли. Но только без шума. Жену не будите».

– А ты все спала?

– Спала, разумеется. Крепко спала. Тогда Теодор Растропович сказал: «Однако какие вы хитрые, черти! Нашли ведь лазейку!» И стал хохотать. Икает, хохочет, икает, хохочет. Потом они вышли. Вот так он пропал.

И Сонька победно взглянула на звезды.

– Но как же? – Амалия не унималась. – Ведь он тебе муж. Ты должна была бы его разыскать...

– Я искала! В конце концов мне сообщили, что он – совсем никакой не скорняк, а разведчик. Работал здесь для иностранной разведки. Мне дали совет больше не заикаться. И тут же нас с ним развели. Вот и все. Спасибо, что не расстреляли с ним вместе. Но я тогда сразу сменила квартиру.

Глава вторая

Страшные события

В Немчиновке никто никогда не пропадал. Муж или жена, случалось, бросали друг друга. Случалось, что, бросая, прихватывали что-то особенно ценное, вроде совместно нажитого ребенка, или картину знаменитого художника, или, если ничего такого не попадалось под руку, часы со стола, перстень с изумрудом. Но след их всегда был известен, и вскоре людей этих и возвращали.

В субботу утром рядом с магазинчиком, на двери сторожки и на многих фонарных столбах появилась фотография той самой девушки с белыми волосами, которую встретил Алеша гуляя, и прямо под шеей ее было жирно написано красным фломастером: *«Пропавшая без вести. Лина Забелина. Последний раз видели днем шестого июля на станции»*.

Немчиновка оцепенела сначала. Потом пошли предположенья и слухи. Потом стали всхлипывать и ужасаться. Потом перестали детей выпускать не только на речку, но и за калитку. И стало как будто темнее и в небе, и даже в прозрачной березовой роще.

С бидоном, в котором от быстрого шага плескалось слегка молоко, Алеша возвращался из магазина домой и не мог поверить себе, что только что видел ее, эту девушку, с кровавой петлей *«пропавшая без вести»*, и только что слышал, как все вокруг жители вовсю уверяют, что, значит, убили, поскольку никто просто так не исчезнет – не те здесь места и не то население. А девушка очень собой хороша, могла приглянуться любому маньяку, хотя здесь, в Немчиновке, их не бывало, но, может быть, и появился маньяк, а эта красавица – первая жертва.

Но он-то ее тоже видел шестого! Живую, обтянутую пестрой тканью и с велосипедом. Он шел по тропинке, она шла навстречу, они поравнялись, и он прошел мимо. Потом обернулся. Она улыбнулась. Сначала небрежно, второй раз – сочувственно. Наверное, все поняла: что за мысли его стали мучить. И ведь не ушла! А выпрямилась и подставила взгляду свое худощавое легкое тело с прерывисто дышащей маленькой грудью, свой впалый живот, на котором ромашки ее очень тесного, узкого платья казались живыми: их словно сорвали и просто нашли на пеструю ткань.

Скажи он тогда: *можно вас проводить?* Она бы, конечно, сказала: *да, можно*.

И он проводил бы ее, и она была бы жива. Он во всем виноват! Он сам и его эти грязные мысли. Маньяк, если он и убил ее, разве посмел подойти, будь с ней рядом Алеша? Какому преступнику нужен свидетель?

Дома, на даче, говорили только об этом. Оказывается, уже приходил милиционер, пока Алеша стоял в очереди за молоком. Показывал фотографию – очень хорошенькая, куколка! – и выспрашивал, не попадалась ли им эта женщина. Сонька уверяла, что если бы попалась, она бы точно запомнила, потому что лицо на фотографии было как у Марины Влади, только еще красивее. Бабушка задала милиционеру прямой вопрос: не думает ли он, что в пропаже блондинки могли быть замешаны эти цыгане?

– А мы их опросим. Цыгане ж – не это... Ну, не по мокрухе, а по воровству. Однако опросим. От нас не уйдут.

И он почесал в круглом сером затылке.

После обеда бабушка рухнула на гамак с мигренью, а Сонька с Амалией чистили вишни.

– Алешу нельзя никуда отпускать, – шептала Амалия. – Пусть дома сидит. Пусть книжки читает. Не те времена, чтобы просто гулять!

– Алеша не девочка, что ему сделают? – И Сонька рукою в вишневой крови поправила мелкие, редкие кудри. – За девочку страшно. Не дай, не дай Бог!

– Сама же сказала, что твой Растропович... – Амалия стала краснее, чем вишни. – Мне Зоя потом объяснила, в чем дело. А я, знаешь, сразу-то не поняла! Какие ужасные, гадкие вещи!

– Спасибо скажи, что живем не в Америке. У нас, слава богу, семья как семья... Венчаются люди, детей своих крестят... А там, говорят, у них толпы *таких*... И целые им города понастроили. Чуть что не по-ихнему, сразу парад. Идут без трусов по Нью-Йорку, бастуют! Плакаты несут! «Почему президент не может быть тоже из *наших*?» Вот так вот. Уже, говорят, будут скоро рожать! Возьмут наклонируют им ребятишек! И слова не скажет никто поперек. А ты говоришь: «Теодор Растропович»! Так что Теодор? Был мужик как мужик. А этот кудрявый пришел, все испортил. Ведь я объяснила тебе, это черт. Нечистую силу к нему подослали.

Алеша поставил бидон на крыльцо.

– Алеша! Куда ты? – спросила Амалия.

– К цыганам, – ответил он. – Я ненадолго.

Укрывшись в ветвях многолетнего дуба, внутри которого Алеша уловил гулкое постукивание, словно и у дерева билось сердце, он смотрел на то, как табор, вспугнутый, нищий, растерзанный табор готовится в путь. Вся яркая их и свободная жизнь вдруг преобразилась. Цыгане гасили остатки костров, землей засыпали горячие угли, и дети искали картошку в золе. Девочка, за которой Алеша наблюдал, когда она, голая, только родившая, купалась в реке, теперь уже с крошечным темным младенцем, привязанным на спину, в длинной рубашке, с запавшими, злыми глазами, сидела поодаль, давила соски худыми подвижными пальцами.

По быстрым и нервным движениям людей Алеша увидел, что им не терпелось скорее уйти. Но уйти им не дали. Подъехала милицейская машина, и двое милиционеров твердым шагом подошли к только что потушенному костру. Цыгане окружили их.

– Никому никуда не отходить! – предупредил один из милиционеров и откашлялся. – Вопросы имеются.

Люди угрюмо, исподлобья смотрели на них и не двигались с места. Былая развязность куда-то исчезла.

– Пропала вот женщина, – сказал второй милиционер и вынул из кармана фотографию Лины Забелиной. – Следы к вам ведут. Разбираться придется.

Цыгане молчали.

– Эту женщину последний раз видели на перроне неделю назад. В среду. Вошла в электричку, как нам сообщили. Вопрос мой такой: кто из вас был на станции?

Высокий и гибкий цыган высокомерно вскинул голову на тонкой шее с большим и острым кадыком, оглянулся на своих и сделал шаг вперед.

– Ну, я был, начальник.

– Фамилия? Имя?

– Гасан Иванов.

– Что ты делал на перроне в среду утром?

– Я поезда ждал.

– Зачем тебе поезд?

– Я ехал родных навестить.

– Каких? Где они проживают?

– В Отрадном. Там тетка живет, сестра моей матери.

– Заметили вы эту женщину? – И милиционер поднес прямо к глазам Иванова фотографию пропавшей.

– Нет, я не заметил, начальник, – испуганно-мрачно ответил Гасан и сплюнул в золу.

– Что мозги нам крутишь! – взорвался начальник. – Вас видели вместе! Ты с ней говорил! И вместе в вагон с ней зашел!

– Ну, зашел. Я что, всех в вагоне запомнил, начальник? Спросил у нее, когда поезд придет. И все. Вот и весь разговор. И вышел в Отрадном.

– Ты с ней говорил минут пять! Отвечай!

– Инкэр тыри чиб палэ данда, морэ!⁹ – сказал вдруг старик в ярко-синей рубашке. – На йав дылыно!¹⁰

– А ты куда лезешь! Смотри у меня! – Милиционер оттолкнул старика и вновь подступил к Иванову. – Поедешь в милицию, дашь показания. А то здесь советчиков слишком уж много! Вам всем оставаться на месте! Пошли!

Гасан Иванов – голова на тонкой шее высокомерно закинута – сам сделал шаг в сторону милицейской машины, как будто готовый к тому, чтобы ехать, и вдруг побежал через луг к перелеску.

– Куда? Стой! Стреляю!

Милиционеры бросились следом за ним, выхватывая из кобуры пистолеты. Цыган неся стрелой. Алеша ни разу не видел, чтоб люди бежали так быстро. И вдруг он упал. Трава стала красной. Потом завопили все женщины сразу, и табор рванулся к упавшему. Расталкивая людей, милиционеры наклонились над ним, а тот, кто стрелял, упал на колени и начал нащупывать пульс. Длинный, с раскинутыми по траве руками и ногами, с уже ярко-белым лицом человек, который вот только минуту назад дышал, говорил и был частью всего: и леса, и луга, и голых детей, испачканных серой золою, и света, лежащего грозно на серой золе, – *не существовал*. А то, что лежало на этой траве и чья уже тусклая, красная кровь остыла быстрее, чем стынет вода в невзрачной Чагинке, пугало своей неподвижностью.

Словами не передать, как подавлены были все отдыхающие и сколько нелепых догадок и слухов ползло по Немчиновке. Во-первых, выяснились подробности жизни пропавшей без вести женщины: Лина Забелина. Возраст: двадцать лет. Студентка консерватории. Отец – Забелин Виктор Афанасьевич, преподаватель на кафедре теории музыки, мать – Забелина Ольга Андреевна, в прошлом балерина, сейчас домохозяйка. Снимают здесь дачу четвертое лето, ни с кем не общаются. В апреле их дочь вышла замуж, но летом уже развелась. В знакомствах была неразборчива крайне, могла и к цыганам подсесть в электричке. Предельно открыта и очень кокетлива.

С собаками шарили денно и ночью, посадки молоденьких пихт затоптали, искали, куда закопали убитую. Но тела нигде не нашли. Цыган сразу после убийства Гасана, который действительно ездил к родне, пришлось отпустить. Табор ночью ушел, остались зола от костров и, поскольку дождя еще не было, бурые пятна на ярко-зеленой траве: кровь тоже не сразу уходит под землю, не хочет быть быстро забытой людьми.

Стояло прекрасное жаркое лето, вокруг все цвело, все звенело, а ночью томление было разлитое, туман серебристый стоял над лугами, пропахшими клевером, звезды дрожали, – казалось, живи, наслаждайся, пари! Но люди в Немчиновке рано ложились, в пинг-понг не играли, ночами все окна держали закрытыми. И спали хоть голыми от духоты, зато в безопасности. Напомнили им, как печально все в мире, и как ненадежно, и как безотрадно. И дело не в том, что кто-то взятки берет, не в возрасте даже, не в беззаконье, не в воспалившихся гландах. Взятничество можно и не замечать, как возраст и как беззаконье, а гланды – пойдите, и вырежут вам эти гланды, не будет у вас ни ангины, ни гриппа.

Так в чем тогда дело? А в том, что не властны мы ни над погодой, ни над природой, и жизнь нас бросает, как лодку без весел, и, что значит «смерть», остается загадкой.

⁹ Держи язык за зубами! (цыг.)

¹⁰ Не будь дураком! (цыг.)

В пятницу, как всегда, приехал Саша. Бабушка накрашила рот темной помадой, отчего зубы ее стали казаться ослепительно-белыми.

За обедом обсуждали страшные новости Немчиновки.

– Ну, просто как канула в воду! Исчезла бесследно! – сказала Амалия.

– Это бывает, – кивнул грустно Саша.

Алеша слегка побледнел:

– Как бывает?

– Замечены с древности разные случаи. Идет вот прохожий, и вдруг он исчез. И где он?

– И где он? – спросила Амалия.

– А кто его знает? И вот этот самый Бермудский... Там тоже.

– Ох! – вскрикнула Сонька. – И не говори! Чтоб я полетела над этим Бермудским? Да озолотите!

Не допив чая, Алеша выскочил из-за стола и побежал к развилке. Вот здесь он увидел ее. Она шла навстречу ему вместе с велосипедом. Он стал восстанавливать – неторопливо, с внезапной нежностью к каждой детали – их эту короткую, странную встречу. Девушка была очень худой, и ключицы ее розовели. Лица он тогда не запомнил от страха. Запомнил ресницы и белые волосы. Теперь говорят, что красавица. Может быть. Но это не важно, а важно другое. Он чуть не застонал от нахлынувших на него острых и безжалостных подробностей, каждая из которых служила доказательством только одного: она была *жива* тогда, она была *здесь*. Он вспомнил, как быстро и глубоко она дышала, и от жары маленькая грудь ее была, наверное, огненно-горячей. Белые волосы колечками прилипли ко лбу. Сначала она улыбнулась небрежно, потом дружелюбно, немного насмешливо. Ромашки на платье цвели, как живые. Он вспомнил, как она с облегчением прислонила к дереву надоевший ей тяжелый велосипед и вытерла потную ладонь о ствол. Потом выпрямилась, усмехнулась, заметив его жадный взгляд. И тут, кажется, он убежал. Но сразу же и обернулся – ее уже не было. Вон рыщут с собаками в темных оврагах! Когда-нибудь, может, найдут. А лучше бы и не искали. Невольно он вообразил, *что* найдут. Его затошнило.

Он вспомнил, как мать угрожает отцу:

– Не бросишь проклятое пьянство – сгниешь!

И как ей отец отвечает:

– Конечно. Но все мы сгнием, дорогая моя.

Глава третья

Жизнь

Через две недели вернулись с гастролей родители, и в тот же день, только ближе к вечеру, Саша сообщил бабушке, что жене его стало лучше и у него появилась возможность забрать ее из клиники. Родители приехали после завтрака и сразу же завалились спать наверху, на открытом балконе, где всегда лежала охапка свежего сена, потому что отец Алеши любил этот запах и говорил, что он действует на него лучше снотворного. Они долго спали, почти до пяти. Бабушка, Сонька и Амалия возились на кухне с обедом, и тут появился на дорожке Саша с помятым дрожащим лицом, потребовал бабушку в сад и сказал ей, что больше сюда никогда не приедет, такие теперь у него обстоятельства. У бабушки подкосились ноги, и она прислонилась спиной к стволу засохшей давно, но еще живописной, антоновской яблони.

Бабушка стала любовницей Саши двадцать лет назад, когда ей исполнилось сорок и она внезапно овдовела, похоронила мужа, утонувшего на Финском заливе от разрыва сердца, и Саша, женатый человек, старый друг семьи, начал приходить к ней по утрам, до работы, держал ее за руки и успокаивал, а кончилось страстью, изменой, постелью. Не было и речи о том, чтобы он ушел из семьи, оставил жену с очень сложным характером, который казался всем славным, веселым, и только один Саша знал, какие бывали тяжелые дни у этой пригожей, немного сутулой, с притворной улыбкою Елизаветы, как дико она ревновала его, следила, куда он пошел, кто ему позвонил, а если они появлялись на людях, всегда прижималась к нему, словно длится и вечно продлится медовый их месяц. Пылкий и нервный роман с Алешиной бабушкой не только не отдалил Сашу от жены, но, как это бывает у слабохарактерных и очень чувственных мужчин, добавил как будто какого-то перца в его ежедневную скучную жизнь. Жена его Лиза, почувствовав что-то, вдруг стала его соблазнять, как чужого, по всей Москве рыскала, чтобы достать особенно уж кружевное белье, при этом душилась такими духами, что Саша почти задышался с ней рядом.

И так это все затянулось на годы. Да что там на годы! Десятилетия. Пока обе женщины вдруг не достигли предельно опасного женского возраста, и Лизин рассудок, не выдержав, слегка пошатнулся. Сначала она тосковала и плакала, потом перестала почти спать ночами, потом стала вдруг пропадать, и надолго, домой возвращалась смущенной, веселой и вдруг очень хитрым и ласковым голосом сказала, что к лету ждет двойню. Вот с тем и пришлось поместить ее в клинику.

Для Лешиной бабушки настали непростые времена: Саша начал упрекать себя в болезни жены, перепугался, решив, что виною всему их роман, и вдруг попросил передышки.

– Я так не могу больше жить! На два дома!

– Ну, если один из домов – сумасшедший, действительно трудно, – заметила бабушка Зоя.

Саша стиснул зубы, боясь ей ответить такою же грубостью, и тут же ушел. Лизино заболевание стало камнем преткновения. Бабушка категорически отказывалась признать, что в Лизином долготерпении было, наверное, мужество, сила характера, не только расчет и не одна только хитрость. А может быть, даже привязанность к Саше, которому Лиза, детей не имевшая, прощала, как детям прощают родители. Сам Саша, как только она оказалась в такого неловкого профиля клинике, сказал, что не станет ее обсуждать и сделает все, чтобы Лиза вернулась.

На это уж бабушка хлопнула дверью и крикнула резким учительским голосом:

– Сотри телефон мой и имя забудь!

Любовники очень скандально расстались, и бабушка долго лежала в постели, не ела и стала похожей на тень. А мама как будто воодушевилась, готовила бабушке манную кашу с густым и противным сиропом шиповника и все говорила:

– Да плюнь на него! Вы столько лет жили, – он даже колечка, простого колечка ведь не подарил!

А бабушка, приподнимаясь в подушках и кашляя так, что дрожали все стекла, хрипела:

– При чем здесь колечко?

В конце концов Саша опомнился. Уж больно давило на психику место, где Лиза, жена, с провалившимся взглядом, встречала его то враждебно, то грустно, просилась домой, объяснялась в любви, потом вдруг опять становилась разумной и все беспокоилась, чем он питается. Пребывание в клинике, где няньки отличались грубостью и дурными манерами, а врачи ходили как будто немножко всегда под хмельком, не пошло на пользу Лизиной внешности, и, попавши туда вполне еще привлекательной женщиной с густыми каштановыми волосами, она побледнела, согнулась, поблекла, покрылась морщинками, как паутиной, и даже походка ее изменилась: теперь она двигалась криво и быстро, как будто все время следила за кем-то.

Не выдержав, Саша вернулся к любовнице. Бабушка долго его к себе не подпускала, грубила ему в телефон, наврала, что встретила консерваторского друга, который недавно развелся и очень теперь пристаёт. Но все же они помирились. Бабушка так устала за время разлуки, что дала себе слово не заикаться о Лизе, не мучить его и не дергать, а просто вот так день за днем проживать и радоваться, что звонит, и встречает, и в губы целует, как прежде, со стоном. Теперь уже не было необходимости искать себе временных разных пристанищ, поскольку квартира, где Саша жил с Лизой, была совершенно пуста и свободна. Стояли духи потерявшей рассудок и больше в духах не нуждавшейся Лизы, висели ее заграничные кофточки, ее пиджачки, ее шарфики, юбочки, и бабушка только однажды, не выдержав, пока простодушный и ласковый Саша плескался под душем, взяла эти юбочки и всем задрала подолы и повесила в другое совсем отделение шкафа.

Любовь с Сашей снова взялась за свое, как будто стремясь наверстать молодое, и стала особенно горькой и бурной, поскольку теперь они оба стояли под низким покровом иных обстоятельств: помрет в желтом доме страдальца Лиза, а может, и Саша не выдержит, рухнет, а может, и бабушка выйдет на кухню, ну, даже вот чайник поставить, и вскрикнет, сожмет свое грустное сердце руками, а дальше – сирена, огни и носилки. Короче: любить надо вовремя. В двадцать. Ну, или в тридцать – на полную мощь. А там уже – возраст, неврозы, сосуды, и соли нельзя, да и сахара тоже.

Два года продлилась вся эта идиллия. И вдруг он, приехав на дачу, сказал, что нужно *растаться*. Что Лиза здорова: прошла экспертизу. Все помнит, читает газеты и книги, и был в желтом доме недавно турнир по шашкам: она победила в турнире. Отец Непифодий ему объяснил:

– В душевных недугах – одна Божья воля. Господь возвращает рассудок не часто. Лекарствами в этих делах не поможешь.

А надо сказать, что Саша недавно нашел своего одноклассника Валу, вернее, Валеру, отца Непифодия, который, оставив Второй медицинский и переучившись в духовное звание, служил в селе Вездебродье на Клязьме, и Саше был рад и с большою готовностью всем Сашиним перипетиям старался придать высший смысл. И ему удавалось.

Прежде Саша был очень хорош собою, и девушки останавливались, увидев вдруг человека, как две капли воды похожего на знаменитого разведчика Штирлица, увековеченного игрою не менее знаменитого артиста Тихонова. Отличие было в бородке. И Штирлиц, и Тихонов брились, а Саша носил много лет небольшую и мягкую, как и душа его, бороду. Бабушка, как ни странно, тоже напоминала актрису, но нисколько не русскую, хотя среди них попадались красивые, а неповторимую итальянку Софи Лорен. И если кому-то хотелось понять, как выглядят не на экране, а в жизни глаза эти, с серым внутри, влажным дымом, то незачем было кататься в Италию – идите в Леонтьевский и посмотрите. Сейчас, разумеется, бабушка с Сашей

слегка потускнели, но чувство любви, а проще сказать, несдающейся страсти, по-прежнему их молодило и красило.

На даче же, куда Саша приехал не как положено, в пятницу, а во вторник с утра, произошло следующее. Встретив любовника у калитки, бабушка вся порозовела и хотела было сразу накормить его только что выпеченными на огромной чугунной сковородке рыбными котлетами, но Саша дрожащим, кривящимся ртом отверг предложение: ему-де сейчас не до котлет. И тут же бабахнул нелепую новость, зачем-то еще приплел и подробности с лишним для дела турниром по шашкам. Прижавшись спиной к засохшему дереву и оборотив на любовника слезы, мгновенно залившие дым ее глаз, бабушка поначалу так растерялась, что стала его малодушно просить: ну, пусть совсем изредка, ну, хоть раз в неделю, в деревне, в глуши, чтобы только увидеться, но Саша, как правило миролюбивый, сказал, что расстанемся, мол, по-хорошему. Валера, вернее, отец Непифодий, его убедил, что любовь – это главное, однако не та вот любовь, от которой родной человек может стать ненормальным, как это случилось с безропотной Лизой, а та, что поможет тебе возродиться, наследовать вечную жизнь и так далее. Такою любовью он сможет любить одну только Лизу, уже некрасивую, в разношенных тапочках, ибо в больнице включалось в режим очень много ходить. (А если залечь на кровать и лежать, то можно дойти и до самоубийства.) Поэтому обувь вся так и сносилась. Все тем же дрожащим сквозь перья бородки, кривящимся ртом Саша твердо сказал, что слух свой отныне замкнул изнутри и доводов бабушки больше не слышит, и будет стоять на своем, а иначе вся эта проклятая ложь целой жизни проглотит его, и пожрет, и ни камня на нем не оставит. И тут же ушел и не оглянулся. А бабушка, плача, смотрела вослед, пока он не скрылся внутри перелеска – слегка мешковатый, прелестный, любимый – до боли, до крика – запретной любовью, которой противится бывший Валера, а ныне отец Непифодий на Клязьме.

Когда пахнувшие сеном и румяные от долгого сна на свежем воздухе спустились на террасу родители, то бабушка встретила их ледяным молчанием, никакого отчета по поводу отдыха внука Алеши на даче предъявить не смогла, а бросила лишь, что здесь убивают, воруют и слишком уж много цыган. Родители переглянулись.

– Поедем в Москву? Тебе скучно, наверное? – спросила испуганно мама.

– А Яншин? – спросил ее сын. – Без него не поеду.

Они взяли Яншина. Он обслонявил отцу подбородок, и шею, и плечи, поскольку не переносил электричек.

Это были самые странные две недели в Алешиной жизни. Если бы он был поэтом, хотя бы таким, каким был, скажем, Лермонтов, то он бы легко себя вообразил каким-нибудь там кораблем, белым парусом, который заплыл в очень тихую бухту и смотрит оттуда на грозное море. Ему-то не страшно пока в этой бухте. О, что будет с теми, кто в море открытом на утлых плотках, на суденышках чахлах старается выжить среди бурных волн? За это время он почувствовал, что, хотя и пережил уже довольно много, но эти его переживания не идут ни в какое сравнение с тем, что предстоит в будущем, и нужно готовиться к этому, тренироваться, как люди, которые с раннего детства торчат во спортзалах, а после всю зиму по страшным морозам гуляют без шапок. Вот таким, с характером. Не позволять себе ни слабинки, ни трещинки в сердце и, главное, всех избегать откровений.

Надо сказать, что злопамятная, хотя и щедрая Сонька еще года три назад буркнула маме, что Алеша напоминает ей одного юношу, которого Сонька, совсем молодая, узнала ближайшим, интимнейшим образом, но он как-то странно тогда увернулся, семьи с ней не создал, куда-то уехал, и след его так и растаял на этой затоптанной до безобразья земле. Сходство неизвестного юноши с Алешей, обнаруженное наблюдательной женщиной, заключалось в том, что оба они старались как можно глубже запрятать все, что происходило внутри их весьма одиноких сердец, поскольку им гордость мешала открыться, и эта привычка всегда оставаться

вдали ото всех и стоять в стороне, слегка усмехаясь от собственных мыслей, могла привести, как заметила Сонька, к какому-то даже почти вырождению. На мамин вопрос, почему вырождению, неумная Сонька сказала, что если всю жизнь так таиться, то ты, безусловно, закроешь каналы к источнику счастья, душевно прокиснешь и быстро состаришься.

Отец начал опять репетировать, опять загуляла прелестная Юна, опять режиссер их театра под утро от ревности чуть не зарезал жену, опять заструились дожди над Москвою, размыли узоры цветов в летних парках, а на ВДНХ на центральной площадке открылась чудесная выставка «Осень», где можно прийти и попробовать было сто двадцать сортов очень вкусного меда. Мама, отдыхая от бабушки с ее страстями и настроениями, готовила обеды, делала отцу на завтрак овощные соки, следила за тем, что Алеша читает, лечила упрямого, вздорного Яншина, которого в кровь расцарапала кошка, размером едва ли не больше, чем Яншин. Короче: у мамы до начала учебного года забот было невпроворот, и пусть ей хотелось побольше участвовать в жизни Алеши, но времени на это совсем, к сожалению, не было.

Ошибки родителей, их заблуждения. Они нарождаются вместе с младенцем, и в этот момент, когда врач или даже простая курносая бабка в деревне одним очень ловким и быстрым движеньем отрежет дитя от измученной матери, и этот младенец с молочными глазками и страхом в своих, совсем мелких чертах начнет вдруг орать, заявлять о себе, – вот в этот момент и приходят ошибки. Ведь нету же ближе тебе, новорожденный, а также тебе, ему жизнь подарившей, на целой земле никого, чем вы оба – друг другу. Смотрите: одна на вас кровь подсыхает. Однако же, как ни проста эта истина, ни дети, куда-то всегда устремленные, ни их родители, сразу уставшие, ее до сих пор ни на йоту не поняли. Отрезали, значит, младенчика вашего? Ну, все. Будь здоров. Торопись в свою жизнь. А вы, дорогая мамаша, в свою. Ведь вот как устроено. Грустно? Да, грустно.

Иногда Алеше до смерти хотелось поговорить с отцом, но, кроме этого смутного, раздражающего его желания, он не представлял себе, как и о чем они будут разговаривать. Ему казалось, что отец словно бы стесняется его, потому что в трезвом своем состоянии он остро помнит, что совсем недавно пришел опять пьяным и снова был жуткий скандал, и Алеша, притихший в своей очень маленькой комнате, конечно же, слышал их крики. Алеша был очень похож на отца и мнительностью, и гордыней, и скрытностью, но, видимо, эти черты и вели отца к алкоголю: он прятался, он убегал от себя. Странно, что мать не понимала этого и отцовское пьянство приписывала работе, женщинам, театральным склокам, от которых он лез на стену. В голову ее не приходили самые простые вещи, которые понял Алеша: отец не справляется, он надорван. Поэтому пьет. Другие не пьют, потому что их психика устроена как-то иначе, они осмотрительней, больше боятся за жизнь, меньше любят себя. Отец его, будучи трезвым, себя самого стеснялся, а может быть, и презирал. Но, выпивши, он становился терпимее, а главное, веселее. Женщины, о которых постоянно твердила мать, пугали Алешу гораздо сильнее, чем отцовское вечное пьянство. Пьяный отец был виноватым и беспомощным, а грешный отец, тот отец, от кого томительно пахло чужими духами, был даже опасен, как если бы, скажем, в семье их жил тигр, ручной и домашний, но кто его знает? Мог и впасть в ярость. И прыгнуть на грудь, и вцепиться зубами в лицо или в горло. Вот несколько раз и отец становился подобным такому домашнему тигру.

Квартира была небольшой, и поэтому, даже если родители старались, чтобы ни Алеша, ни бабушка не разобрали того, что они в запальчивости выбрасывали в лицо друг другу (а это все происходило ночами!), их сдавленный шепот был слышен отчетливо, секреты в их доме почти не держались.

...он был в седьмом классе. Царила весна. Царила! Какое прекрасное слово – ведь время и вправду царит над людьми. Вот осень с листвою, с их смертной истомой, их медленной гибелью, кротким страданьем, которое с целью, нам всем неизвестной, настолько красиво, что

хочется плакать. Кто скажет, что это страдание природы и эта ее красота, от которой, бывает, плывет все в глазах, все плывет, – кто скажет, что он ничего не заметил, что вся красота эта мимо прошла, оставив его безразличным и вялым? А лето с его ослепительным зноем, с букашкой, увязшей в цветочке, с пичужкой, какая внимательным, желтеньким глазом глядит на тебя из травы? Вдруг встретишься взглядом с таким вот птенцом, вдруг вздрогнешь от солнца, упавшего прямо на руку твою, или грудь, или шею, и станет намного светлее на сердце.

Весна же имеет особые свойства. В московских кустах просыпаются бесы. Их можно всерьез даже не принимать. Когда был мороз, эти бесы дрожали то в виде сосуллек, то в виде комочков слегка подсиненного сумраком снега, а как потянуло весной, они тотчас проснулись и точат о лавки свои коготки, шурят красные глазки и сразу бросаются к людям: играть! Их тоже, конечно же, можно понять: всю зиму вот так продрожать на бульварах! И люди становятся нервными, злыми, зачем-то сжигают умершие листья, и шапки теряют в метро, и перчатки, друг другу звонят по ночам, покупают на рынке взлохмаченных рыб в мутной банке, пузатых, кефиром пропахших щенков, которых потом дрессируют и учат, хотя этих звонких, пузатых щенков с рождения всему научила природа. Да, скучно и грустно, ох, скучно и грустно, и хочется смертным того, что нельзя им, того, что они и в глаза не видали, а бесы смеются над их простотою.

Итак, Алеша заканчивал седьмой класс, страдалицу Лизу забрали в больницу к таким же, как Лиза, бессонным страдальцам, а папа Алеши, актер знаменитый, внезапно влюбился. В кого он влюбился, осталось загадкой. Но мама тотчас же почуяла запах – преступный, загадочный запах любви, хоть папа и был исключительно чистым, всегда долго мылся, душился и брился, поскольку театр устроен непросто: не только талантом берет человек, но очень важны соблюдения правил. И прежде всего гигиены, конечно. А то там такая начнется зараза! Ведь это же Средневековье – театр! И нравы, как в Средневековье, и страсти. Мама угадала о переменах в папиной жизни оттого, что он вдруг бросил пить. Причем бросил сразу, чем всех напугал. Не только семью, но всех жителей дома, в котором ютилось немало актеров, актрис и подростков – актерских детишек, давно, прямо с детства, весьма сильно пьющих. И сразу на папу нахлынули заработки. То радио, то телевизор, то утренник. Возможность слегка подработать случалась, но только он прежде ее отметал, хотя деньги были нужны позарез, а тут вдруг решил, что не грех похалтурить, и сразу появятся лишние средства, и можно тогда будет летом отправить Алешу и бабушку в город Пицунду. Но вот из-за этих халтур – то радио, то телевизор, то утренник – у мамы пропала возможность следить за перемещениями мужа по городу, она как-то вдруг потерялась и сникла, не знала, куда позвонить, как проверить, хоть пить он – не пил, денег стало хватать, и, если бы не было этого счастья и блеска в глазах его, мама, конечно, жила бы в неведении.

Посреди ночи Алеша услышал, что родители шепчутся.

– Отпусти меня, – бормотал отец. И голос его был не пьяным, но страшным. – Я чувствую, что это будет недолго! Но дай мне пожить! Я тебя умоляю.

– Ты болен! Ты слышишь себя? Я утром звонить буду доктору, сейчас позвоню! Что мне ждать до утра?

Их шепот так прыгал, как будто во рту у каждого было по скользкой монетке.

– Здоров, не волнуйся! Уйду все равно! Я думал тебе объяснить, думал даже, что ты меня, может, поймешь... Столько лет мы вместе промучились. Я умоляю...

– Подонок! Ты просто подонок и сволочь! Ты хочешь, чтоб я отпустила тебя? Сейчас вот тебе собрала чемодан? Иди, мой хороший, иди, наслаждайся! А что я Алеше-то завтра скажу? Что папа ушел к своей девке, что папа...

– Но ты же сама говорила всегда: «Скажи мне, когда ты кого-то полюбишь, не стану держать и пойму». Чьи слова?

– Чтоб ты и «полюбишь»? Кого ты полюбишь! Ты сына родного не смог полюбить!

– Я сына люблю. А вот ты... Ты не помнишь, что было, пока этот сын не родился? Что ты вытворяла тогда, ты не помнишь?

– Что *я* вытворяла? Что *ты* вытворял!

– Я хину пил?

– Хину?

– Хину! Тебе ведь сказали, что хина поможет! Что хина способствует кровотечению, и ты сразу выкинешь! Ты *пила* хину! Тебя тогда чудом спасли, идиотку! А помнишь, как врач этот здесь, на Арбате, сказал, чтобы мы с тобой Богу молились, поскольку *он* может родиться кретином! А может быть, просто глухим и слепым!

Потом была пауза. Долгая пауза.

– Пстой! Я пила тогда хину, я помню. Но ты ведь твердил, что не хочешь ребенка! Ведь ты же... Ведь ты... Проклинаю тебя! За все, что ты сделал со мной! За то, что в течение всех этих лет... И ты еще смеешь меня упрекать! Что я пила хину!

– Я завтра уйду.

– Не завтра! Сегодня! Сейчас! Я сейчас же скажу им, что ты нас бросаешь! Иди!

Что-то упало на пол с таким грохотом, что по коридору тут же зацокали бабушкины домашние туфли без задников с железными набойками. Она, разумеется, тоже все слышала.

– Сейчас я милицию вызову! Хватит! Идите немедленно спать! Ненормальные! Хотите расстаться – расстаньтесь как люди! Ребенок и так комок нервов! – И бабушкин голос сорвался.

Потом стало тихо. И только вода зажурчала по кранам, как будто жила на свободе и тоже хотела подать робкий голос: весна ведь, а воды весною – во всем мире воды – стремятся журчать, разливаться и петь.

Отец никуда не ушел, а халтуры закончились сразу, как будто и не было.

Недели три или даже больше родители не смотрели друг на друга, однако обедали вместе и спали по-прежнему вместе, на общей кровати. Потом отец страшно запил. И мать успокоилась. Значит, остался.

Оно проросло в глубину его мозга. Он стал психопатом, уродом, калекой. Утром, едва открывши глаза, он вспоминал, что родители не хотели, чтобы он был, и мама его убивала. Алеша зажмуривался и прятал голову под подушку. Для того чтобы продолжать делать самые простые вещи, то есть встать с постели, умыться, одеться, позавтракать, ему нужно будет напрячь силы, а прежде он их даже не замечал.

Колька Нефедов, он знал его еще с детского сада, как раз переехал на Новый Арбат. Этаж подходил – двадцать третий. У Кольки была своя комната. Он стал приходить к нему в гости. Стоял у окна и смотрел вниз, на улицу. Внизу были люди, до ужаса мелкие, внизу была жизнь, тоже глупая, мелкая, она суетилась, спешила куда-то, а дети все были глухими, слепыми, и он должен был быть таким, как они. А если вот выпрыгнуть и умереть, то будет так, словно он и не рождался. Сесть на подоконник и соскользнуть вниз. И боли не будет. Раз, два и готово.

Он свешивал голову, перегибался. В глубине живота поднималась волна кислой рвоты, голова начинала кружиться. Он видел себя самого на асфальте. Кровавое месиво. Люди вокруг. И все суетятся, вопят и кричат. Потом унесут его, вымоют улицу, посыплют песком, и толпа разойдется.

И все это мучило долго. Не меньше чем месяц, а может, и два. Потом затянулось, но не до конца. Теперь он уже не любил свою маму. Вернее, не то чтобы он *не* любил, она вызывала в нем странное чувство. Как будто бы в ней, заботливой, милой, к тому же красивой – да, очень красивой, – осталась крупница Алешиной смерти. Соринка, размером с бесцветную моль.

Никто не удивлял его так сильно, как собственные родители. Когда они скандалили и грозили друг другу разводом, он чувствовал себя даже спокойнее, во всяком случае, привычнее, но вот когда они начинали любить друг друга, ему становилось неловко и странно. За этой

любовью, как за неподвижным, застывшим травинкою каждой, безмолвным и вроде бы ясным, но слишком уж душным и слишком уж четким во всех очертаньях простым летним утром, обычно приходит гроза – да такая, что сразу смывает с лица всей природы старательную безмятежность ее, – вот так и за этой внезапной любовью должна была снова прийти волна новых скандалов, и слез, и бессонной тревоги.

Весною прошлого года мать вдруг начала кашлять сухим изнурительным кашлем, ее послали на просвечивание, и результат должны были сообщить через несколько дней. Ночью Алеше захотелось пить, он встал и пошел на кухню. Дверь в родительскую комнату была приоткрыта, родители его шептались в темноте.

– Вот так обними, – шелестел голос матери. – Теперь я как в домике. В домике, да? Держи только крепко. И не выпускай.

– Не бойся. Ты в домике. Все хорошо, – шептал ей отец сырым голосом. – Что ты? Да нет же с тобой ничего. Ты ведь в домике.

Потом он услышал дыхание матери – как будто она с каждым вдохом стремилась вобрать в себя то, что он ей говорит.

– И нету дороже тебя никого. Тебя и Алешки. И не сомневайся. Родная моя, моя девочка бедная! Давай вот я так обниму, ляг поближе. Ногтя твоего я не стою...

– Молчи! – и мать осторожно заплакала. – Когда это все обойдется... Скажи, обойдется? Не может ведь быть, чтобы я умерла? Ну, как я оставлю вас? Что с вами будет?

Отец простонал, но сейчас же опомнился.

– С тобой – ничего, ну, поверь мне, родная! С тобою и нет ничего, и не будет! С тобой только я, негодяй, старый пьяница!

– Подумай ведь только! – перебила его мать и закашлялась. Алеша почувствовал, что отец изо всех сил прижал ее к себе. – Подожди. Так слишком мне жарко. Дай я отдышусь. Сейчас я откашляюсь. Вот. Уже легче.

– Водички тебе принести?

– Нет, не надо. Подумай ведь только, как я тебя мучаю, а мне – только ты, только вместе... – И снова закашлялась.

– Сейчас я водички... Тут воздух сухой... поэтому кашляешь...

– Воздух как воздух. Держи меня крепче.

И снова заплакала.

Через несколько дней диагноз, которого они боялись, не подтвердился, и жизнь пошла прежняя.

Глава четвертая

Любовь

Бабушка не хотела возвращаться с дачи, хотя с первых чисел сентября начались заморозки, и трава в саду, зеленая вечером, утром оказывалась нежно-серебристого цвета, как волосы внезапно испугавшегося во сне и тут же поседевшего человека. Амалия вернулась в Питер, Сонька перебралась в Москву. Бабушка топила печь в большой комнате, ходила за грибами – лес весь трепетал от дождя, дачи опустели, и в лесу скитались с большими корзинами поселковые, угрюмые и ноздреватые люди, которые, встретившись с нею, смотрели волками. Грибов было мало. Бабушка упорно, часами бродила по этому лесу, словно вынашивала в себе верное отношение к жизни и словно это верное отношение вынашивалось именно так – в полном одиночестве, среди мелкого беспросветного дождя, от которого волосы ее становились тяжелыми и кудрявыми, а щеки румяными и молодыми.

В июле исполнилось ей шестьдесят, хотя никто на свете, увидев такой, какой она бродила по лесу, в высоких резиновых сапогах, с неподобными волосами, не дал бы ей этого возраста, а дал бы на десять лет меньше, а то даже и на пятнадцать. Лицо ее часто как будто горело, хотя оставалось по-прежнему бледным, и свет изнутри был так ярко и молод, что людям (особенно людям наивным) казалось, что бабушку очень легко раскусить, поскольку душа ее как на ладони. Отчасти они были правы, отчасти.

А душа этой женщины не только на ладони, но и совсем нигде не умещалась, хотя она чувствовала ее очень сильно, и боль, какую она ощущала благодаря постоянному присутствию этой души, научила ее если и не хитрости, то, уж безусловно, выносливости характера. Мало того, что она осталась вдовой в сорок лет со строптивой, никто ей не указ, дочерью, мало того, что нужно было собрать все силы, чтобы поднять эту дочь на ноги, заставить ее закончить сначала музыкальную школу, потом консерваторию, но, кроме всего, что связано с дочерью, кроме работы в театральной студии плюс частные уроки фортепиано и скрипки, кроме размена квартиры, отнявшего несколько лет жизни, она жила с чувством, что не было ни дня, когда она ощущала себя свободной. История с Сашей парализовала ее. Нельзя было потратить на него целую жизнь – а она потратила, нельзя было ждать, что он в конце концов решится на то, чтобы уйти, – а она ждала, и не только ждала, но, понимая его бесхребетность, его эту жалкую, слишком мужскую и рабскую одновременно природу, она каждый раз извиняла его, расставшись навеки, опять возвращала и мысленно мстила затравленной Лизе, пока еще не потерявшей рассудок, хотя эта Лиза была лишь улиткой, забравшейся в темный и скользкий свой домик.

Один только раз захотелось ей вырваться. Подул неожиданно ветер свободы, и этот обман, эта тоже двойная, как и у него, эта тайная жизнь была ей как отпуск – больному шахтеру, как выход на свет из сухой черноты. Но несмотря на то, что человек, с которым она изменила Саше, готов был на все, она миглом остыла, замкнулась и в панике, что потеряла свою эту самую сладкую муку, а именно Сашу, жестоко рассталась с любившим ее человеком и долго ждала, чтобы Саша, суровый, весьма оскорбленный и вдруг даже ставший почти безучастным, к ней снова вернулся.

Слепой была эта любовь, да, слепой. Зоя заучила его назубок, умела по паузам быстро понять, чем он недоволен, по цвету лица всегда узнавала, что он нездоров, любила все родинки на его теле, а запах его еле слышного пота, в котором был привкус лимона, казался ей даже каким-то изысканным. Она от себя не скрывала нисколько, что эта зависимость их друг от друга держалась на том бесконечно счастливом физическом чувстве, связавшем их со дня первой встречи. Духовного в этом соединении, скорее всего, было очень немного. Но много живот-

ного, дикого, грубого, хотя, чтобы в этом преклонном их возрасте стремиться друг к другу не с целью согреться какой-нибудь умной и доброй беседой, а чтобы скорее улечься, прижаться и снова, как это бывает в природе, когда нарастает гроза в небосклоне и каждый листок отзывается дрожью, – да, снова, как это бывает в природе, почувствовать плоть своей собственной плотью, отдать до последнего, взять все, что можешь, и только когда все блаженно утихнет, как сад после жгучей грозы и как лес, закрывши глаза, рук и ног не разнявши, уплыть в ослепительно-черный, тяжелый, томящийся сон, где предметы, как лодки, качаются и чуть грохочут цепями.

Понятно, что Лиза рехнулась. Еще бы! Откуда же силы все это терпеть? Зоя, разумеется, подозревала, что Саша умудряется и *там*, то есть дома, разыгрывать комедию семейного благополучия, но интуиция подсказывала ей, что, даже и разыгрывая комедию, он все же не может достигнуть того, чего достигали они только вместе, а стало быть, Лиза, все время стараясь приблизиться с ним к той грозе, к той свободе, которую он где-то на стороне, а именно с Зоей, переживает, от этого и сорвалась, заболела и съехала в клинику для излечения.

И было два года почти безмятежных. Конечно же, он навещал Лизу в клинике. Носил ей компоты, медсестрам дарил то брошки, то бусы, то деньги, а нянькам совал в их гнилые карманы на выпивку. И вдруг эта Лиза ее победила. Причем победила своею болезнью. Бабушка ожидала, что такого осторожного человека, как Саша, может отпугнуть подобная история, поскольку он был всегда мнительным, очень любил щупать пульс и однажды проверил каким-то совсем новым способом сердце. Потом оказалось, что способ был пробным, больших стоил денег и не оправдал их. Но бабушка Сашу недооценила. Болезнь жены Лизы прожгла ему душу. Мало того, что каждый день после работы – а работал он на Ленинском проспекте в очень престижном научном институте – Саша ездил в сумасшедший дом кормить свою кралю обедом и там сидел долго и гладил ей спину, а если же им позволяла погода, водил ее в парк и отнюдь не скучал, но словно бы даже и перерождался, когда она вдруг улыбалась ему своею натянутой прежней улыбкой. Нет, мало того! Он еще и хотел, хотя бедной бабушке не признавался, забрать свою Лизу обратно домой. Она-то, любовница, втайне мечтала, чтоб Лизу лечили как можно подольше, а он собирался ей, что ли, *служить*, как это ему объяснял Непифодий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.